

Александр Куприн

# На глухарей



# Александр Иванович Куприн

## На глухарей

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2472545](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2472545)*

### **Аннотация**

«Я не могу себе представить, какие ощущения в мире могут сравниться с тем, что испытываешь на глухарной охоте. В ней так много неожиданного, волнующего, таинственного, трудного и прелестного, что этих впечатлений не забудешь никогда в жизни...»

# Содержание

# Куприн Александр

## На глухарей

Я не могу себе представить, какие ощущения в мире могут сравниться с тем, что испытываешь на глухарной охоте. В ней так много неожиданного, волнующего, таинственного, трудного и прелестного, что этих впечатлений не забудешь никогда в жизни.

Просыпаешься среди темной, безлунной, мартовской ночи и сначала никак не можешь сообразить, где ты находишься. Лежишь на земляном полу подле целой груды раскаленных головешек, по которым то и дело трепетно пробегают последние огненные языки. Бревенчатые стены и низкий бревенчатый потолок больше чем на палец покрыты черной, висящей, как бахрома, сажей. Пространство в половину кубической сажени. Вместо двери – узкое отверстие, сквозь которое глядит ночь, еще более темная, чем эти закоптелые стены.

Но отчаянный храп человека, лежащего по другую сторону костра, живо возвращает память не успевшему еще проснуться как следует сознанию. Мы находимся в старой, заброшенной «угольнице», в самом центре Полесья, в сорока верстах от какого бы то ни было жилья, кроме одиноких лесных сторожек, зате-

рянных среди непроходимой чащи. Нас окружает со всех сторон сплошной вековой бор, равный по величине доброму немецкому княжеству.

Вспоминается весь вчерашний день: ранний торопливый выезд и узкая лесная дорожка, вьющаяся самыми неожиданными зигзагами между деревьев, дорожка, по которой умеют пробираться только привычные, крошечные, но сердитые и бойкие полесские лошаденки. Целый день мы то пробирались среди сугробов рыхлого, грязного снега, то вязли в густой грязи, то тряслись и подпрыгивали вместе с телегой по узловатым корневищам, пересекающим дорогу, то на песчаных, уже обсохших пригорках сходили на землю и криками ободряли усталых, потемневших от поту лошадей, то переправлялись мимо снесенных половодьем мостов через неглубокие, но широкие и быстрые, коричневые от грязи, лесные ручьи... Наконец около одной сторожки дорога совсем прекратилась, и мы добрались до угольницы пешком, среди быстро падавших на землю сумерек, по едва заметным тропинкам, злые, голодные, поминутно сбиваясь с дороги и не доверяя друг другу...

Неподвижный, устремленный на меня взгляд заставляет меня обернуться. Мой спутник уже не спит. Он спокойно смотрит на меня сонными, ничего не выражающими глазами и усиленно посасывает потух-

шую короткую трубку. Увидев, что я уже бодрствую, он языком передвигает трубку в угол рта и произносит глухо:

– Эге!.. Не спите, паныч? А я целую ночь не сплю. Все вас стерегу.

– То-то ты храпел так.

– Ну-ну!.. Я одним ухом сплю, а другим все слушаю... Я хитрый... А ну-ка, паныч, который теперь час будет?

Я смотрю на часы.

– Час без четверти... Может быть, собираться?

Трофим вяло глядит на потухающие уголья, задумчиво чешет затылок, сдвинув шапку совсем на глаза, потом чешет поясницу.

– А что ж! – вдруг восклицает он с неожиданным приливом энергии. Собираться так собираться. Лучше пойдем себе помаленьку, не будем торопиться...

Сборы наши не занимают много времени. Я стягиваю потуже вокруг талии патронташный ремень и выпрастываю из-под него кверху бока свитки, чтобы дать больше свободы рукам, сильно встряхиваюсь всем телом, чтобы убедиться, что ничто на мне не бренчит и не болтается, натягиваю кожаные бахилы<sup>1</sup> и крепко обвязываю их повыше колен вокруг ног, а тем време-

---

<sup>1</sup> род толстого кожаного чулка; бахилы выделываются из цельного куска кожи и потому совершенно не пропускают воды

нем Трофим дает мне последние наставления, и хотя я их слышал, по крайней мере, раз десять, я слушаю еще раз со вниманием и новым любопытством.

Трофим Щербатый – казенный лесник, благосклонному вниманию которого меня рекомендовал лесничий – мой родственник, а его непосредственный начальник. Трофим беспечен, груб, немного хвастун и лентяй и втихомолку торгует казенной дичью. Это его отрицательные качества. Но зато он смел, знает лес не хуже любого зверя, прекрасный стрелок и неутомимый охотник. Ко мне он относится покровительственно.

– Сначала глухарь с опаской играет, – наставительно говорит Трофим. Чок! и замолчал. Сидит себе на суку и во все стороны слушает. Потом опять: чок, чок! – и опять тихо. Уже тут, спаси вас господи, паныч, поворохнуться или сучком треснуть – только и услышите, как он крыльями по всему лесу захлопает. Потому что его хоть и называют – глухарь, а нет в целом свете такой чуткой птицы, как он... Потом вдруг как зашипит! Вот тут-то вы уж что есть духу скачите вперед. Изо всей силы... Прыгнули раз с пять – и стой! И – ни мур-мур. Даже не пять, а хоть четыре аль бы три сначала. И уж сто-ой... опять жди песни. Тут он вскорости опять заиграет: чок-чок... чок-чок... чок-чок... и опять зашипел. Вы опять вперед и опять стой ожидай пес-

ню. Иной глухарь как разоидется, так без передышки песен тридцать сыграет, а вы только знайте себе, скакайте вперед и больше ничего. А потом вдруг замолчит и а-ни-ни, как отрезал. Полчаса, подлец, будет прислушиваться. Ну, уж тут ничего не сделаешь: как стал, так и стой. Ждите. Другой раз в багне<sup>2</sup> по пояс загрузнешь, дрожишь весь, а терпи! Ноги замлеют, спина ноет, руки болят, а все-таки жди... А как он только опять начал играть, так вы, паныч, одну песню пропустите. Бывают из них такие прохвосты, что стрельца обдуривают. Это харкуны называются. Зачокает, зачокает... ты – скок, а он и замолчал. Подождет немного и давай харкать: хрр... хрр... Это он другим глухарям весть подает: берегись, говорит, стрелец идет. И уж если где такой харкун завелся – все токовище ни к чертову батьку не годится. Только и знает, холера, что сидит на суку да сторожит, не идет ли кто.

Мы подымаемся по трем земляным ступенькам, вылезаем сквозь узкое отверстие, боком, из угольницы и сразу попадаем в такую глубокую темень, что кажется, будто нас внезапно окунули в какую-то гигантскую чернильницу. Я остановился вновь в нерешительности, почти в страхе. Чтобы обмануть себя, я нарочно на несколько секунд закрываю глаза и потом быстро раскрываю их. Нет! – ночь по-прежнему

---

<sup>2</sup> вязком болоте

му черна и непроницаема до жуткости. Я подымаю голову вверх. Но на небе нет ни одной звезды, и у меня вдруг мелькает мистическая, тревожная мысль: неужели все живущее осуждено погрузиться после смерти в такой же непобедимый, вечный, ужасный мрак?

– Ну, что же вы, паныч? Идите за мной, – слышу я где-то впереди себя глухой голос Щербатого.

И я иду, прислушиваясь к его шагам, боязливо простирая перед собой руки и осторожно ощупывая ногами почву. Меня ни на секунду не покидает ожидание, что вот-вот я наткнусь лицом на острый сучок, и от этого ожидания я испытываю в глазах странную, тупую боль, точно кто-то сильно давит на них изнутри.

Мы идем без дороги, напрямиком. Ноги по колено без всякого усилия входят в жидкий, как каша, зернистый, холодный снег, под которым при каждом шаге громко хлюпает вода. То мы идем по сплошной грязи, с трудом вытаскивая из нее ноги, иногда взбираемся на сухие и твердые пригорки, иногда шагаем по мшистым кочкам, подающимся мягко и упруго вниз, когда на них ступаешь. Но где мы? Куда мы идем? – я не знаю. Я с первых же шагов перестал ориентироваться, и теперь наше шествие представляется мне чем-то нелепым, тяжелым и фантастическим, как кошмар. Порою ветки каких-то деревьев хлещут меня по лицу

и цепляются, точно невидимые длинные руки, за мои плечи. Порою прямо передо мной, в аршине от моего лица, вдруг вырастает черный толстый ствол дерева. Я останавливаюсь, отшатываюсь в испуге и протягиваю вперед руки... но пальцы мои встречают все тот же непроницаемый для глаз, пропитанный тьмою воздух.

– Идите, идите, паныч, – ободряет меня Щербатый. – Тут недалеко... всего полторы версты... Можно бы было... О, черт!..

Я слышу, как он падает куда-то вниз, ломая сухой валежник, и как потом его тело с размаху бултыхает в воду. Мной овладевает дикий, эгоистический страх и какая-то растерянная, беспомощная, тоскливая озлобленность. Мне кажется, что, если я сделаю еще хоть один шаг среди этой грозной темноты, я тоже полечу в глубокую, холодную и грязную трясины.

– В яму угодил! – говорит откуда-то снизу Щербатый, и я слышу, как он, вылезая, отфыркивается и топчет ногами по грязи. – Держитесь левее, паныч, левее... Идите на меня... вот так... И как это я в нее так ловко нацелился? Ведь, кажись, добре знаю. В эту самую яму в позапрошлом году лось попал, весной. Так и подход в ней, не мог выкарабкаться.

Его спокойствие передается и мне, и опять я бреду, ощупывая, как слепец, руками воздух и прислушива-

ьясь к шагам лесника.

– Много ли осталось, Трофим?

– Осталось? Да еще с версту будет. Нет, не будет с версту... Меньше... Будет еще с три четверти.

Чтобы обмануть свое нетерпение, я начинаю считать шаги. «Отсчитаю хоть пятьсот шагов, – думаю я, – тогда уж самые пустяки останутся». И я уже успеваю насчитать более двухсот, как вдруг наталкиваюсь на спину остановившегося Щербатого.

– Чего ты стал, Трофим?

– Тут полегче надо, паныч. Будем речонку переходить.

Я слышу, как быстротекущая вода бурлит и плещется вокруг Трофимовых сапог, и тотчас же чувствую, что и я сам постепенно вхожу в воду, которая упруго и яростно бьется о мои ноги. Разлившаяся лесная речонка неглубока, но она так стремительно несется вниз по крутому косоугору, что я принужден волочить ноги по дну из опасения быть сбитым течением. По временам я попадаю на более глубокие места и каждый раз, внезапно погружаясь в них, чувствую, как у меня от испуга дыхание пересекается быстрым и коротким вздохом. Мне немного жутко, потому что самой воды я в темноте не вижу, но со всех сторон, далеко вокруг себя, я слышу ее торопливое журчанье, таинственные всплески и гневный ропот...

Наконец мы выходим на плотный, упругий песчаный берег. Я только теперь замечаю, что ночь немного посветлела, – замечаю потому, что смутно вижу спину шагающего впереди Трофима и неясные очертания сосен. Трофим на ходу поворачивает ко мне голову и шепчет:

– Ну, паныч, идите потихоньку, не шумите. Сейчас придем на токовище. «Он» еще с вечера уселся на место, а теперь проснулся и слушает...

– А скоро он начнет? – спрашиваю я также шепотом.

– Тес... тихонько!.. Сперва журавли заиграют.

Теперь мыдвигаемся медленно, шаг за шагом. Под ногами у нас узенькая лесная тропинка, обледенелая и скользкая. Трофим идет совсем бесшумно в своих легких лыковых постолах, но я то и дело наступаю на какие-то веточки и сучки, и мне кажется, что их треск оглушительно разносится по всему лесу.

Трофим останавливается и, не оборачиваясь, подзывает меня к себе рукою. Я подхожу. Он наклоняется к моему уху и шепчет так тихо, что я с трудом разбираю слова:

– Здесь станем. Не ворошиться, паныч.

Ночь побледнела еще больше. От земли поднялся густой туман. Я слышу его влажное прикосновение на своем лице, слышу его сырой запах. На его седом фоне ближайшие сосны однотонно, плоско и неясно вы-

рисовываются своими прямыми, голыми стволами. В их неподвижности среди этой глубокой тишины, среди этого холодного, мокрого тумана чувствуется что-то суровое, сознательно печальное и покорное.

Я не знаю, сколько прошло времени, может быть, пять минут, может быть, полчаса. Внезапно мой слух поражается такими странными звуками, что я невольно вздрагиваю от неожиданности. Это какие-то высокие, необыкновенно звучные и гармоничные стоны, издаваемые целыми десятками голосов. Я никак не могу определить, откуда они несутся: справа, слева, спереди или сзади? Они торопятся, вторят друг другу, перегоняют друг друга, сплетаются и вновь расходятся, образуя своеобразный размер и оригинальную мелодию, и разбуженный лес откликается на нее звонким и чистым отзвуком.

– Журавли! – еле слышно произносит Трофим.

«Уу-рлы, урлу-рлы, урлу-рлы», – стонет по всему лесу невидимый хор, и едва только он замолкает, как в ответ ему откуда-то с противоположного конца леса раздаются такие же гармонические стоны другого стада проснувшихся журавлей, потом отзывается третье стадо, за ним четвертое... Эта утренняя перекличка служит сигналом для всего леса. Заяц начинает вопить своим дрожащим, гнусавым и прерывающимся сопрано, где-то близко около нас чуфыкнул задорно

и резко тетерев, сова расхохоталась на верхушке высокого дерева... И опять все стихает, погружается в прежнюю чуткую дремоту, и опять мы стоим молча и неподвижно и, еле дыша и теряя счет времени, подслушиваем тайны леса.

Вдруг Трофим встрепенулся, вытянул шею, подался вперед всем туловищем и так и замер в напряженной выжидательной позе. Очевидно, его изощренный слух уловил какие-то отдаленные, слабые звуки, но я, как ни прислушивался, как ни насиловал свое внимание, ничего не мог различить кроме непрерывного глухого шума, раздававшегося у меня в ушах.

– Играет! – прошептал Трофим. – Слышите?

– Нет.

– Все равно, идите за мной. Как я скокну, так и вы. Нога в ногу... А как услышите совсем хорошо, тогда скажите... я тогда от вас отстану... О! Чуете? Опять заиграл.

Но я по-прежнему ничего не слышал. Вдруг Трофим, точно подброшенный сильной пружиной, сорвался с места, сделал три огромных прыжка прямо по глубокому снегу и остановился, точно окаменелый. Я не мог поспеть за ним и пропустил лишний шаг.

Трофим молча повернулся ко мне и с искаженным, злым и взволнованным лицом погрозил мне пальцем.

Через минуту пружина опять бросила его вперед. Теперь я изловчился и, попадая ногами как раз в те самые места, которые только что оставляли ноги Трофима, успел остановиться вместе с ним. Трофим одобрительно кивнул головой.

Мы сделали таким образом около двадцати перебежек, когда я наконец расслышал играющего глухаря. Это были сухие, отрывистые звуки с металлическим оттенком, похожие на то, как если бы кто щелкал ногтем по пустой жестяной коробке. Они следовали друг за другом попарно, сначала очень редко, с интервалом в несколько секунд, но потом повторялись все чаще и чаще, пока не переходили в мелкую сливающуюся дробь. В этот момент мы с Трофимом стремглав бросились вперед, высоко вскидывая ноги и разбрасывая вокруг себя жидкий снег.

– Трофим, – шепнул я, дернув за рукав лесника. – Теперь я...

Но он грубо вырвал у меня руку и укоризненно замотал головой. И только тогда, когда глухарь опять зачастил и перешел в дробь, Трофим резко обернулся ко мне и закричал:

– Можно говорить только под песню. Пойдите!

Дождавшись еще одной дроби, он прибавил так же громко и торопливо:

– Помните: целься под песню, заряжай под песню,

стреляй под песню...

Наконец во время третьей дроби он сказал уже более спокойно:

– Захотите кашлять – ждите песню. Ну... идите.

Глухарь тотчас же заиграл в четвертый раз. Я ринулся вперед. В то же время побежал и Трофим, но не за мной, а в противоположную сторону. Таким образом, в пять перебежек мы потеряли друг друга, и я остался один.

У меня так сильно колотилось сердце и так дрожали ноги, что я решился пропустить несколько песен, чтобы оправиться. Тут я расслышал совершенно ясно и второе колено. Чистая дробь незаметно и быстро переходит в сплошной жесткий и резкий звук, похожий скорее на скрежет, чем на шипенье, и напоминающий звук, происходящий от трения двух металлических поверхностей. Этот скрежет продолжается недолго – секунды четыре, – но зато в эти секунды глухарь абсолютно ничего не видит и не слышит, потому что плотно зажмуривает глаза, а уши у него герметически закупориваются отростками челюстных костей. В эти секунды можно выпалить из пушки в расстоянии четверти аршина от его головы: он не обратит на выстрел никакого внимания и все-таки dokonчит свое колено. Уже много времени спустя я узнал, что все эти звуки глухарь производит своим кривым и твердым клювом.

Глухарь единственная птица, у которой нет языка, но зато огромная полость его рта представляет собою прекраснейший резонатор. Начиная песню, он ударяет верхнюю часть клюва о нижнюю. Ударит и прислушается. Потом еще ударит и еще прислушается, и ударяет все чаще и чаще, пока не переходит в дробь. Тогда глухарь уже не в силах остановиться. В диком любовном экстазе он трет одной челюстью о другую, ожесточенно скрежещет ими и забывает в эти мгновения об опасности, и о многочисленных врагах, и о мудром благоразумии, и решительно обо всем на свете.

В то время, когда я отдыхал, глухарь вдруг перестал играть и молчал, должно быть, минут с десять. Потом он чокнул один раз, но – тихо, осторожно, как будто бы нехотя, и опять замолчал на несколько минут, затем чокнул другой раз, уже сильнее и громче, еще немного погодя чокнул два раза, затем опять два, зачастил, заторопился и, будучи не в силах остановиться, перешел во второе колено. Согласно наставлению Щерба-того, я пропустил первую песню. Глухарь тотчас же, почти без перерыва, заиграл вторую, и я побежал вперед.

Ровная покатость, по которой мне до сих пор приходилось бежать, перешла в низменное водянистое болото, поросшее редким сосновым лесом. Изредка попадалась редкая ольха и осина и приземистые ку-

сты можжевельника. Одинокие кочки, покрытые мягким мохом и брусникой, торчали кое-где из-под тонкого и хрупкого утреннего ледка, затянувшего за ночь болото. Мне не всегда удавалось попадать ногами на эти кочки, и я обрывался, уходя в грязь по пояс. Бахилы мои налились водою и страшно отяжелели. Один раз, вытаскивая ноги из болота, я не удержал равновесия и, пробив телом тонкий лед, упал ничком прямо в вязкую и холодную гущу. Однако у меня хватило мужества лежать в таком неудобном положении, чтобы не всполошить глухаря. Я лежал и слышал, как надо мною булькают поднимающиеся из болота пузырьки, чувствовал, как вонючая влага медленно просачивается за борт и в рукава моей свитки... К счастью, глухарь недолго испытывал мое терпение. Когда он заиграл, я быстро вскочил и утвердился на кочке. В следующую песню я побежал дальше.

С каждой перебежкой песня становилась все яснее и яснее. Теперь я не только слышал хорошо оба колена, но даже различал между ними какой-то новый странный звук, какое-то глухое и быстрое фырканье. Наконец я остановился. Я слышал, что глухарь играет где-то совсем близко, над самой моей головой, на одной из шести или семи сосен, обступивших почти правильным кругом кочку, на которой я стоял. Под песню я поднял голову вверх и стал жадно всматриваться в

густые шапки сосен. Но или ночь была еще слишком темна, или мой глаз недостаточно зорок, – я ничего не различал в этих черных массах перепутавшихся ветвей.

А глухарь все играл и играл не переставая одну песнь за другой. Он так разгорячился, что окончательно забыл об осторожности: он уже не чокал, а начал прямо с дробы и, едва окончив одну песню, тотчас же принимался за другую. Никогда в жизни, ни раньше, ни впоследствии, не слышал я ничего более странного, загадочного и волнующего, чем эти металлические, жесткие звуки. В них чувствуется что-то допотопное, что-то принадлежащее давно исчезнувшим формациям, когда птицы и звери чудовищного вида перекликались страшными голосами в таинственных первобытных лесах...

Мне показалось, что в ветвях ближайшего дерева шевельнулось что-то черное. Это «что-то» могло быть и сучком и птицей, но мое воображение уверило меня, что это глухарь. Выждав песню, я дрожащими руками взвел курок и прицелился... Ноги у меня тряслись от волнения, а сердце так колотилось в груди, что стук его, казалось, разносился по всему лесу.

Глухарь заиграл снова. Я потянул собачку. Как загремел, как загрохотал после моего выстрела проснувшийся лес!.. По всей его громадной площади

пронеслось эхо, разбиваясь о деревья на тысячи медленно стихающих отзвуков, и еще долго-долго глухо гудело и рокотало оно где-то далеко на опушке... С дерева дождем посыпалась сбитая выстрелом хвоя. Должно быть, она обсыпала и глухаря, потому что он на несколько секунд прекратил песню, но потом, точно рассердившись на внезапную помеху, заиграл с новым ожесточением.

Тотчас же после своего выстрела я услышал сзади себя, в очень далеком расстоянии, выстрел Трофимовой шестилинейной одностволки, – характерный, долгий, глухой, подобный пушечному, выстрел. «Этот-то уж, наверно, не промахнулся», – подумал я и почувствовал, что в сердце моем шевельнулась охотничья зависть.

Рассвет близился. В воздухе стало холоднее и сырее. Опять прокричали журавли, и опять отозвались на их крик лесные обитатели: звонко затрещала желна, меланхолически застонала горлица, где-то слышалось робкое и нежное болботание тетерева, пичужки с легким пискom завоились в кустах.

А я все стоял, не решаясь стрелять в другой раз, и мной уже начинали овладевать скука и утомление. Вдруг со стороны Трофима раздался второй выстрел. Что-то шевельнулось вверху над моей головой. Я поднял глаза и почти в том самом месте, куда только что

стрелял, совершенно отчетливо увидел глухаря.

От меня до него по прямому направлению было не больше десяти-пятнадцати шагов, но он мне показался величиною с домашнего голубя. Играя песню, он то вытягивал вперед, то опять втягивал шею, точь-в-точь как это делает кричащий индюк, а переходя ко второму колену, он весь поворачивался на суку, опускал вниз крылья и с шумом разворачивал веером хвост (этот-то шум, похожий на фыркание, я и услышал раньше, не понимая его значения). Во всех его движениях было что-то напыщенное, глубоко-важное и комическое.

На этот раз я не промахнулся. Глухарь, как камень, свалился вниз, брякнувшись глухо и плотно о землю. Я подбежал к нему. Он был жив и судорожно бился и подпрыгивал по земле, яростно хлопая могучими крыльями. Однако страдания его не были продолжительны. Он упал спиной в мелкую лужицу и уже не мог больше подняться. Несколько раз его шея быстро поднялась из воды и опустилась, потом по ногам пробежала мелкая, частая дрожь, и все было кончено.

Я поднял его. В нем было фунтов около пятнадцати весу, а величиной он равнялся среднего роста индюку. Шея и живот – черные, спина светло-коричневая, с седоватыми пятнами, брови красные, бархатистого оттенка, лапы в серых штаниках, а пальцы их покрыты

костяной бахромой, глаз круглый, коричневый, с большим круглым и черным зрачком.

Скоро я услышал голос звавшего меня Трофима, и мы сошлись с ним на прежней тропинке. За спиной у него было два глухаря, которых он связал между собой, продев сквозь их клювы веревку.

– Я хитрый, – говорил он хвастливо. – Я как подошел к своему петуху, так слышу, что зараз и другой прилетел, да близенько так, всего каких тридцать шагов... и давай они оба играть. Ну, думаю, если своего убью, так другой заслышит и улетит. Так я что сделал! Прицелился в своего, да и жду, когда другой заиграет. Тот как заиграл, я сейчас – бах! – и есть. И сейчас к другому – раз! – и готово. Вот как у нас, паныч!..

Потом он взвесил моего глухаря на руке и похвалил:

– Петух хороший... Добрый петух... Ну, с полем вас, паныч!

Когда мы возвращались обратно, лес совсем проснулся и ожил и весь наполнился птичьим радостным гомоном. Пахло весной, талой землею и прошлогодним прелым листом. Голубое небо было так прохладно, чисто и весело, а верхушки сосен, точно осыпанные золотой пылью, уже грелись в первых лучах весеннего солнца.